

Алиса Амосова, Александр Котов

Петербургский университет в период реформ и революций

Alisa Amosova, Aleksandr Kotov

(both — Saint Petersburg State University, Russia)

Saint Petersburg University in the period of reforms and revolutions

История Санкт-Петербургского университета не раз привлекала к себе внимание исследователей. Но при этом, как правило, освещались лишь частные аспекты: деятельность факультетов¹, биографии учёных², студенческое движение³. Реже выходили обзорные работы, имевшие характер хроники⁴. Монография Е.А. Ростовцева — обобщающий труд, в котором системно, с учётом европейского контекста, раскрываются механизмы функционирования и развития столичного университета Российской империи второй половины XIX — начала XX в. Вместе с тем автор затрагивает малоизученные сюжеты, связанные с историей идей, элит, повседневности. Выходя за хронологические рамки своего исследования, он очерчивает типологию и периодизацию становления европейских университетов начиная с XI в. (с. 8–22), а реконструируя коллективный портрет преподавателей-эмигрантов, доходит до середины XX в. (с. 754–756).

Опираясь на солидную источниковую базу, Ростовцев вводит в научный оборот обширный корпус неопубликованных архивных документов из фондов Объединённого архива СПбГУ, Отдела рукописей РНБ, РГИА, ЦГИА СПб, ЦГА СПб, ГА РФ. Но основное внимание он уделяет внутренней университетской документации и прежде всего журналам (протоколам) заседаний университетского совета. По словам Ростовцева, именно обращение к этому источнику, «из месяца в месяц фиксирующему почти все значимые события университетской жизни, в значительной степени развеивает дым многих идеологических спекуляций» (с. 28). В частности, протоколы разрушают и представления об университете как о «беззащитной жертве политических преследований со стороны “режима”», и традиционный для правой публицистики образ до-

революционного студенчества как «пушечного мяса», руководимого «подлецом профессором за казённый счёт». Таким образом, оказывается, что «университетский мир рубежа XIX–XX вв. был намного ярче и богаче, чем часто было принято его представлять в историографии» (с. 27–28).

В первой части автор рассматривает различные аспекты «внутренней жизни» Санкт-Петербургского (Петроградского) университета: анализирует его структуру (институциональное устройство), отношения внутри коллектива и между учащими и учащимися, выделяет черты «коллективного портрета как корпорации в целом, так и её частей — представителей разных факультетов и областей науки» (с. 107). Ростовцев подробно и всесторонне описывает «многослойную структуру корпорации, отдельными сегментами которой являлись факультеты, сообщества “старших” и “младших”, учебно-вспомогательный персонал». «Эта губчатая структура, — отмечает он, — находилась в процессе постоянного роста, впитывая в себя новые поколения российской учёной элиты» (с. 142). Университет предстаёт в книге не только как научный и образовательный центр, но и как особый социально-политический организм, «государство в государстве», достаточно устойчивое перед вызовами времени и оказывавшее значительное воздействие на ситуацию в стране. Исследователь убедительно доказывает, что основу университетской жизни составляли не официальные уставы, регламенты, правила, а корпоративные традиции формальных и неформальных взаимоотношений, распространённые в академической среде, и, в частности, патернализм, требовавший от профессоров попечения и заботы о студентах.

В центре созданного в монографии масштабного «семейно»-корпоративного «портрета» — университетские «мандарины». Так вслед за немецкими социологами середины XX в., полуиронически использовавшими этот термин, Ростовцев называет «социально-культурную элиту, которая обладает властью и высоким статусом в обществе благодаря образованию и знаниям, а не по праву происхождения или богатства». Возникновение и рост влияния этой группы обыкновенно связывают с ослаблением позиций аристократии и духовенства при недостаточной ещё силе политических партий, предпринимателей и разного рода «технократов» индустриальной эпохи (с. 20–21).

Источником авторитета университетских (да и иных, в России — прежде всего литературно-журнальных) «мандаринов» было общественное почитание, и в самом деле придававшее интеллектуалам функции «жрецов» формировавшейся «гражданской религии». Не случайно противники университетской автономии писали о порождённом ею «канцелярском либерализме особого рода», тесно связанном с «нашей коренной приверженностью обрядной стороне дела»⁵. Отмечаемая Ростовцевым «театральность» тогдашнего учебного процесса также во многом носила ритуальный характер. Например, лекции «были в большой степени публичным, а не сугубо образовательным актом и в связи с этим общественной и научной трибуной, а также показателем популярности преподавателя» (с. 250–251).

Имитационный характер нередко носила и процедура приёма экзаменов. Приводимые автором примеры тогдашних студенческих ответов могут составить достойную конкуренцию современному преподавательскому фольклору сквозь слёзы. Впрочем, «либеральное» профессорское «попустительство» отчасти вступало в противоречие с другим «прогрессивным» феноменом тех лет — приобщением женщин к высшему образованию. Так, Н.Н. Платонова записала в дневнике в 1915 г.: «Студенты негодуют на женщин, экзаменуемых в Ун[иверситет]ской комиссии, за то, что они “повышают требования” на экзаменах, т.е., другими словами, добросовестнее к ним готовятся, чем студенты (кстати: в Ун[иверситет]ской комиссии этого года экзаменовалось больше женщин, чем мужчин)» (с. 268).

В целом же профессорский «либерализм» был тесно связан с «патернализмом» — покровительственным, часто выходившим за служебные рамки, отношением к обучающимся. Разумеется, оно распространялось не только на учебный процесс, но и на участие студентов в разного рода беспорядках, постепенно ставших привычным фоном университетской жизни. Впрочем, Ростовцев не склонен осуждать этот педагогический «либерализм», связывая его «не столько с “культулом студента” и “заигрыванием” с массой, но и с чётким пониманием столичной профессурой того обстоятельства, что лишь абсолютное меньшинство студентов после университета выбирало научную стезю, причём степень подготовленности к ней этого меньшинства мало зависит от характера экзамена» (с. 269). По мнению автора, «патерналистская модель имела двоякое воздействие на характер научной подготовки студенчества — снисходительное отношение к общей массе соседствовало со строгими требованиями и индивидуальными занятиями с избранными учениками, подготавливаемыми к “оставлению в университете”, к роли “научной элиты”» (с. 314).

Другой «оборотной стороной студенческой принципиальности и профессорской толерантности к фрондёрам была студенческая нетерпимость к инакомыслящим и уверенность в праве регламентировать поведение самих профессоров... В период революционных обострений бывали и обструкции, устраиваемые профессорам» (с. 278). Разъедала университетскую корпорацию и традиционная русская кружковщина, о которой ещё в 1871 г. А.В. Никитенко написал: «разнообразие в Божьем мире неисчерпаемо, а разномыслие и разнологосица в русском мире бесконечны. Но вот беда: самолюбия в этом разногласии ненасытны»⁶.

Весьма характерно было описанное Ростовцевым противостояние «кружков» А.С. Лаппо-Данилевского и С.Ф. Платонова. Как объяснял его А.Е. Преснякову сам Платонов, «те — дворяне по воспитанию, с хорошим домашним воспитанием, с обширными научными средствами, демократы по убеждению и по теории, люди с политическими стремлениями, с определённым складом политических взглядов, в которые догматически верят, и потому нетерпимы к чужим мнениям; они же, т.е. платоновцы, разночинцы,

люди другого общества, другого воспитания, с меньшим запасом научных сил, очень разнородные по убеждениям, только личной дружбой, а не каким-нибудь общим *credo* связанные между собой. По характеру ума они скептики, недовольные ныне господствующими порядками не менее тех, они не видят средств бороться и переносят их по внешности равнодушно, делая своё учёное и преподавательское дело и не пропагандируя своего недовольства, не требуя непременно согласия с собою и спокойно относясь к противоречиям и противоположным убеждениям, даже мало симпатичным. Они не сторонятся другого кружка, но тот игнорирует их; попытки сближения были и кончились обидой для них же» (с. 339–340).

Однако вся эта «отрицательная комплиментарность» отходила на второй план, когда корпорация сталкивалась с внешними силами — как правило, бюрократическими. Недоверие к «решившимся на административную карьеру» сказывалось даже на родственных связях. Так, профессор П.К. Кокóвцов, двоюродный брат главы финансового ведомства (а затем и правительства), «специально обходил стороной ту улицу, на которой жил чиновный родственник, чтобы никто не подумал, что он может посетить министра. На занятиях он не уставлял внушать студентам, что его фамилия звучит не “Кокóвцов”, как называли сановника, а “Коковцòв”» (с. 343–344). В целом, как отмечает Ростовцев, «академическое сообщество столичного университета рубежа XIX–XX вв. составляло социальную группу с устойчивыми корпоративными признаками: формальной и неформальной иерархией, общей системой ценностей и понятий, объединённой внутренней идентичностью, традиционными коммеморациями и коллективной памятью» (с. 348).

Во второй части книги деятельность столичного университета изображена в широком социально-политическом контексте, анализируются ключевые факторы, оказывавшие влияние на специфические взаимоотношения профессорской корпорации и представителей государственной власти, а также прослеживается процесс ликвидации «университетской автономии» в первые годы советской власти.

Ростовцев констатирует, что даже после 1884 г. «фактическая автономия университетов была несравненно больше формальной» (с. 111). Попытки правительства ограничить

академические свободы вызывали «кризисы», укреплявшие корпоративную идентичность и становившиеся важнейшими вехами истории университета. Их детальный анализ является одним из структурообразующих принципов книги.

При этом следует учесть двойственный характер университетской автономии: с одной стороны, она рассматривалась как гарантия от вмешательства бюрократии в научное творчество, с другой — со второй половины XIX в. «борьба за автономию» являлась одной из форм участия профессорских корпораций в общественной жизни (с. 10–11). Публицисты пореформенного времени не раз отмечали, что в России обсуждение проблем высшей школы выходит за собственно образовательные и академические рамки. Действительно, при отсутствии парламентаризма и свободы слова в стране политизировались все сферы общественной и культурной жизни.

Ростовцев в целом высоко оценивает устав 1863 г., который даже его защитники в 1870–1880-х гг. считали всего лишь наименьшим злом⁷. По мнению исследователя, он «обеспечил условия для развития не только университетской науки, но и университетской корпоративности, а также для становления в рамках университетской системы целого ряда организационных структур, возникающих прежде всего благодаря инициативе российской профессуры» (с. 415). «Реакционный» же устав 1884 г., напротив, под предлогом внедрения передового немецкого опыта и обеспечения «академической свободы» ставил «корпоративные» советы под контроль «государства», т.е. Министерства народного просвещения. Неудивительно, что впоследствии, «ссылаясь на нормы устава, ответственность на министерство за постоянные университетские кризисы возлагала и либеральная оппозиция» (с. 429).

В то же время, «увлечённые планированием прекрасного будущего русских университетов, “либеральные бюрократы” и либеральные профессора не замечали, как стремительно менялась атмосфера жизни тех, для кого университеты и были непосредственно предназначены, — для студентов. Провозглашавшие с кафедры прогрессивные научные идеи профессора вряд ли вполне осознавали силу своего слова. Например, знаменитый университетский зоолог С.С. Куторга, активно поддерживавший теорию Ч. Дарвина в своих

лекциях, вряд ли представлял, что сеял “семена” революции. На авансцену выходит новое поколение интеллигенции — люди “идей” уступают дорогу “людям убеждений”, готовым посвятить жизнь их воплощению» (с. 408–409). Министерство всё это сознавало, но пыталось решить проблему с помощью мелочного контроля.

Особенно «преуспел» в этом И.Д. Делянов, пытавшийся лично проследить за ходом учебного процесса (с. 436–438). Разумеется, подобное «ручное управление» и следовавшие за ним репрессии «вызывали обратный эффект, ведя к углублению пропасти между властью и обществом». Кроме того, не было секретом, что массовые исключения революционно-настроенной молодёжи и высылка её представителей из столицы только способствовали — «за казённый счет» — распространению революционных идей в провинции (с. 418).

Подчинить себе университетскую корпорацию дореволюционной власти в конечном итоге не удалось. Ростовцев пришёл к выводу, что «хотя действия внешних сил... были важными факторами университетской жизни, к масштабным кризисам (1884, 1887, 1890, 1899, 1902) они приводили только тогда, когда угрожали неформальной автономии университета, являлись вызовом «патерналистской модели» и грозили разрушить единство университетской семьи. Коллективные действия профессорской коллегии и преподавательской корпорации в целом не только помогали преодолевать кризисы, но и способствовали росту её внутренней идентичности и солидарности, позволяя профессорам оставаться реальными хозяевами в университете и заставляя власть всё более считаться с позицией университетских “мандаринов”» (с. 524). По мере приближения империи к гибели профессора всё чаще «осознанно использовали студенческий радикализм ради достижения собственных политических и неразрывно связанных с ними корпоративных целей (получение автономии)» (с. 553). Двусмысленность подобных действий привела к тому, что уже в 1905 г. В.И. Ульянов (Ленин) провозгласил университет «трибуной» пролетариата, «предоставленной ему революционным студенчеством» (с. 551).

С проблемой, не решённой бюрократией «старого порядка», успешно справились большевики. В годы революции и Гражданской войны произошёл поэтапный демонтаж некогда устойчивой университетской корпорации. Правда, и «новая власть вынуждена была действовать осторожно, ведя с университетскими корпорациями определённую игру и включив профессию в обсуждение планов преобразований высшей школы» (с. 734). Кстати, с советской администрацией гораздо проще находили общий язык люди консервативного склада — «типа профессора князя А.А. Ухтомского, сознательно противопоставлявшие себя “истеричной петроградской интеллигенции” с её “европейско-театрально-космополитичным мирозерцанием”» (с. 740). Но, к сожалению, в новых условиях даже лояльность не стала панацеей⁸.

Примечания

¹ См., в частности: *Валк С.Н.* Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // *Валк С.Н.* Избранные труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000. С. 7–106; *Вербицкая Л.А.* Юбилей экономического факультета // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5: Экономика. 2000. № 2. С. 3–4; Исторический факультет Санкт-Петербургского университета. 1934–2004: Очерк истории / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко. СПб., 2004.

² *Брачев В.С.* Русский историк С.Ф. Платонов. Учёный. Педагог. Человек. СПб., 1997; *Приймак Н.И.* А.С. Лаппо-Данилевский и С.Н. Валк (учитель и ученик) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История, языковедение, литературоведение. 1998. № 1. С. 8–16; *Малинов А.В., Погодин С.Н.* Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб., 2001; *Универсанты в мире искусства: Биографические очерки.* СПб., 2008; Александр Алексеевич Вознесенский. Учёный. Педагог. Просветитель: Книга-альбом. Ярославль; Рыбинск, 2015.

³ *Жуйкова Р.Г.* Революционные студенческие кружки С.-Петербургского университета // Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 2. Л., 1968. С. 41–51; *Ганелин Р.Ш.* Петербургский университет и правительственная политика (из истории студенческого движения) // Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 6. Л., 1989. С. 112–135.

⁴ Григорьев В.В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования: Историческая записка, составленная по поручению Совета университета. СПб., 1870.

⁵ Любимов Н.А. По поводу предстоящего пересмотра университетского устава (мнение, заявленное автором в Совете Московского университета) // Русский вестник. Т. 103. 1873. № 2. С. 889.

⁶ Никитенко А.В. Дневник. В 3 т. Т. 3. М., 1956. С. 214.

⁷ Подробнее см.: Котов А.Э. «Дело профессора Любимова»: власть и общество в борьбе за университет // Университетский научный журнал. 2012. № 2. С. 65.

⁸ Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х — начале 30-х годов XX века // Отечественная история. 1994. № 3. С. 143–158.

Дмитрий Андреев

Рец. на: Б.В. Никольский. Дневник. 1896–1918 / Изд. подгот. Д.Н. Шилов, Ю.А. Кузьмин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. Т. 1: 1896–1903. 704 с. Т. 2: 1904–1918. 656 с.

Dmitry Andreev

(Lomonosov Moscow State University, Russia)

Rec. ad op.: B.V. Nikolsky. Dnevnik. 1896–1918 / Ed. by D.N. Shilov, Yu.A. Kuzmin. Saint Petersburg, 2015. Vol. 1: 1896–1903. Vol. 2: 1904–1918

Русский дореволюционный политический консерватизм представлял собой очень пёстрый, разнообразный и во многом противоречивый конгломерат идей, представлений, позиций. Этим он разительно отличается от исторически противостоявшего ему либерализма, который — при всём обилии своих оттенков — тем не менее был несопоставимо более однообразным и соответствовавшим своему западному прообразу. Первые изданный целиком дневник видного представителя консервативного лагеря Б.В. Никольского (1870–1919) является ценным источником для исследователей общественной мысли и политической истории России конца XIX — начала XX в. Борис Владимирович на протяжении нескольких десятилетий находился в эпицентре важнейших событий, происходивших в стране. Юрист по образованию, он преподавал в Петербургском университете, в Училище правоведения, в Военно-юридической академии, на Высших женских курсах, был известным журналистом и литературным критиком с обширными связями и знакомствами, участвовал в деятельности «Русского собрания», а затем Союза русского народа, с 1905 г. и до падения самодержавия в 1917 г. активно вращался в высших сферах, регу-

лярно общаясь с влиятельными сановниками.

Дневник отразил специфические особенности мировоззрения Никольского. Как и всякий дореволюционный консерватор, он был убеждённым монархистом, хотя и не вполне типичным. Он не доверял дворянству и называл его «неслужащим служилым сословием» (т. 1, с. 67), подрывающим основы самодержавной государственности своими конституционалистскими устремлениями. Ему казалось, что это сословие «конечно», а его «уничтожение» должно привести к «страшному усилению самодержавия» (т. 1, с. 59, 119). Свои надежды автор дневника связывал с духовенством, обладающим, в отличие от дворянства, «сильным словесным чувством и сословным достоинством», а потому являющимся «более цельным и ценным» для государства. По мысли Никольского, следовало улучшить быт духовенства, снять с него архаичные и неоправданные ограничения, после чего ему можно было бы смело верить народ (т. 1, с. 59–60). В духовенстве он видел «культурную силу», способную активизировать приходскую жизнь и не только совершать богослужения, но и заниматься решением многочисленных